

* * *

Поэт есть особа, которая не знает себе подобной, не знает мастерства или не знает, как повернется его Бог. Он сам внутри себя, <он не знает> какая буря возникнет и исчезнет, какого ритма и темпа она будет. Разве может в минуты, когда великий пожар возникает в нем, думать о шлифовании, оттачивании и описании.

Он сам как форма есть средство, его рот, его горло — средство, через которое будет говорить Дьявол или Бог.

Он сам поэт, которого никогда нельзя видеть, ибо он, поэт, закован формой, тем видом, что мы называем человеком.

Эта видимая форма есть такой же знак, как нота, буква, и только. Он ударяет внутри себя, и каждый удар летит в мир.

Поэт слушает только свои удары и новыми словообразованиями говорит миру, эти слова никогда не понять Разуму, ибо они не его, это слова поэзии поэта. И когда Разум выявил их в понятие, они реальны и служат единицей мира. Будучи непонятым, но действительно реальным.

* * *

Мысль исчезла; как неуклюжее громоздкое стихотворение, лежит неподвижным камнем балласт векового образования.

Стихотворения всех поэтов представляю как комок собранных всевозможных вещей, маленькие и большие ломбарды, где хорошо свернутые жилеты, подушки, ковры, брелки, кольца и шелк, и юбки, и кареты уложены в ряды ящиков по известному порядку, закону и основе.

Строка очень странная, наивная, может, наивность и велика, но мне она тоже наивна и собою напоминает нечто примитивное.

Способ, которым передавал свое поэт, очень забавный.

Если рассмотреть строку, то она нафарширована, как колбаса, всевозможными формами, чуждыми друг другу и незнающими своего соседа.

Может быть в строке лошадь, ящик, луна, буфет, табурет, мороз, церковь, око-рок, звон, проститутка, цветок, хризантема. Если иллюстрировать одну строку наглядно, получим нелепый ряд форм.

Ими поэт хочет рассказать свою «душу», ими рассказывает о «любви», о «ней». Не знаю, можно ли формами природы высказать исчерпывающее свое внутреннее слышание, слышится ли оно в образах лошади, Венеры, солнца, луны, хризантемы — мне кажется, что нет.

Все стихотворение состоит из названий отличительных, из свойств, качеств и ощущений, вкусов и т. д. «Гудели колокола» — страшно грубо и несуразно. Разве в слове «гудели» поэт дал то гудение, которое он слышал и что переживал в этом гудении — я уверен, что поэт переживал очень многое. Он слушал гул, забыв о всем, ибо звуки будили в нем необычайные движения.

А в стихотворении только указывается, что «гудели», так скажет всякий. Разуму нужно отличить, что в это время колокола гудели и чтобы было понятно положение того, кто был в месте, где гудели, народ толпился у церкви.

Один расскажет, другой расскажет в стихотворении, третий сплет о «крестном ходе» и «плачущей малютке», четвертый напишет красками.

И никто из них не доволен, и все плачут и стонут; я думаю, что если бы плотнику пришлось строить дом, и он собирал все предметы и вещи, какие они есть в природе, и стал складывать дом, то тоже заплакался. И в этом случае Разум поступает иначе, он претворяет каждую вещь природы в неузнаваемый вид, создавая совсем иное тело.

Он смешивает разнородные по виду формы в одну и творит новый вид и форму, какой нет в природе. То же церковь, то же колокол.

Чем же отличаются наисвободнейшие творцы, певцы сверхземного. Люди, заглядывающие в иной мир, «боги», приписывающие себе обладание большим, сверхчеловеческим, нежели природа, земля.

В этом случае они только думают «о сверх», но на самом деле нет ничего, кроме реальных, ими не сделанных колоколов, их звука и т. д.

Поэты и художники, музыканты — больше слушают звон колокола, нежели себя. Они трусы, привыкшие к оковам вещей, без которых не могут жить.

Но голос настоящего неустанно звучит в каждом из них, но принять его, как он есть, бояться, ритм и темп колышут неустанно поэта, но поэт берет его и одевает лошадь, колокола и т. д., и на хвостиках строки висит настоящее созвучие того, что должно занять первое место и показать себя всюду.

Поэт боится выявить свой стон, свой голос, ибо в стоне и голосе нет вещи, они голые, чистые образуют слова, но это не слова, а только ряды букв — в них. В них нет материи, а есть голос его бытия чистого, настоящего, и поэт боится самого себя.

Ритм и темп включают образ поэта в действие. И он служит как средство выявления в мире. Я говорю про его оболочку, он же невидим и не выдавший мир, не знающий, что есть в мире, ибо это знает только разум, как буфетчик свой шкаф.

Буфетчик и принимает настоящее и охорашивает свои предметы, Венер в поэтическом костюме, «могила в хризантеме», «он», «она», — все это обуто в особую высшую обувь ритма.

А самого поэта нет, есть мастер дел «обувных», и только. Поэт не мастер, мастерство чепуха, не может быть мастерства в божеском поэте, ибо он не знает ни минуты, ни часа, ни места, где воспламенится ритм.

Может быть, в трамвае, улице, площади, на реке, горе — с ним будет пляска его Бога, его самого. Где нет ни чернил, ни бумаги, и запомнить не сможет, ибо ни разума, ни памяти в данный момент не будет у него.

В нем начнется великая литургия. Тоже дух, дух религиозный (мне кажется, что дух не один, а несколько, или, может, один, но, попадая в индивидуальные особенности, — по-иному говорит).

Дух церковный, ритм и темп — есть его реальные выявители. В чем выражается религиозность духа, в движении, в звуках и знаках чистых без всяких объяснений — действие и только, жест, очерчивание собой форм, в действе служения мы видим движение знаков, но не замечаем рисунка, которого рисуют собою знаки. Высокое движение знака идет по рисунку, и если бы опытный фотограф сумел снять рисунок пути знака, то мы получили бы графику духовного состояния.

Церковный, религиозный дух находится в таком же владении буфетчика, так же обвешан значениями знаков, каждый знак превращен в символ чего-то, стал недвижим, неуклюж, как носильщик. Носильщиком в данный момент и есть служитель, но в большинстве случаев служители церковные религиозного духа — есть носильщики, которые из нош сделали себе кусок хлеба.

Такие носильщики живут, как клопы в щелях, они не сбегут. Но есть служители, которые хотят служить по требованиям голоса религиозного духа и вошедшие в дом, обложенный в багаж утвари церковной, — бросают его и бегут.

Люди, в которых религиозный дух силен, господствует, должны исполнить волю его, волю свою и служить, как он укажет телу, делать те жесты и говорить то, что он хочет, они должны победить разум и на каждый раз, в каждое служение строить новую церковь жестов и движения особого.

Такой служитель является Богом, таким же таинственным и непонятным — становится природной частицей творческого Бога. И может быть постигаем разумом, как и все.

Тайна — творение знака, а знак — реальный вид тайны, в котором постигаются таинства нового

Своим действием будит присущий ему дух в других, и в этом пробуждении он преемственен, и преемственность таинственна и непостижима, но реальна.

Подобный служитель действующий образует возле и кругом себя пустыню, многие, боясь пустыни, бегут еще дальше в глушь сутолоки.

И через пустыню он по-настоящему выйдет в народ, и народ в него, и если народ почувствует родственность в себе его, воскликнет с ним каждый по-иному — но едино.

И будут едины, пока не сгорит служитель. Тот, на которого возложится служение религиозного духа — являет собою церковь, образ которой меняется ежесекундно. Она пройдет перед ним движущаяся и разнообразная.

Церковь — движение. Ритм и темп — его основы.

Новая церковь, живая, бегущая, сменит настоящую, но превратившуюся в багажный железнодорожный пакгауз. Время бежит, и скоро должны быть настоящие.

* * *

В поэзии уже промчались бегом первые лучи нового поэта, свободного от искусства мастерства, легкого и свободного. Гортань его зеркально чиста, и говор его чист и плавлен. Нет в нем вещей неуклюжих — ведь ужасен современный и прошедший поэт.

Черна гортань его, выползают слова-вещи: табурет, розы пахучие, женщины, гробы и тучи — это какой-то ящер, изрыгающий вещи.

Лучи нового поэта осветили буквы, но их называли набором слов. Что можно без труда набрать сколько хочешь. Такие отзывы были среди мудрейших старейшин.

Пушкин мастер, может быть, и кроме него много мастеров других, но ему почет, как старейшей фирме. Есть много мастеров других профессий и много старейших фирм — везде искусство, везде мастерство, везде художество, везде форма.

Само искусство — мастерство есть тяжелое, неуклюжее и по неповоротливости мешаает чему-то внутреннему, тому, что часто говорят мастера художественного «достигнуть трудно и нельзя», нельзя передать натуры и нельзя высказать себя.

Все искусство, мастерство и художество как нечто красивое — праздность, обывательщина.

Самое высшее, считаю, моменты служения духа и поэта говор без слов, когда через рот бегут безумные слова, безумные ни умом, ни разумом не постигаемы.

Говор поэта, ритм и темп делают промежутки, делают массу звуковую и в ясность исчерпывающие приводят жесты самого тела.

Когда загорается пламя поэта, он становится, поднимает руки, изгибает тело, делая из него ту форму, которая для зрителя будет живой, новой, реальной церковью. Здесь ни мастерство, ни художество не может быть, ибо будет тяжело земельно загромождено другими ощущениями и целями.

УЛЭ ЕЛЭ ДЕЛ ЛИ ОНЕ КОН СИ АН
ОНОН КОРИ РИ КОАСАМБИ МОЕНА ЛЕЖ
САБНО ОРАТР ТУЛОЖ КО АЛИБИ БАЕСТОРЕ
ТИРО ОРЕНЕ АЛИЖ

Вот в чем исчерпал свою молитву, свое высокое действие поэт, и эти слова нельзя набрать, и никто не сможет подражать ему.